**Религиозные мотивы лирики П.П.Ершова**

Зверев В.П.

Для многих даже весьма образованных людей имя Петра Павловича Ершова (1815–1869) ассоциируется преимущественно со сказкой "Конек-Горбунок". Однако рассуждения об этом писателе как об авторе только одного широко популярного сочинения явно сужают и искажают сущность его поэтического таланта. Для создателя "Конька-Горбунка" были характерны широта и в то же время глубина художественных интересов, удивительно требовательное отношение к своим произведениям и скромная оценка собственного дарования. Он не умел, – да это было бы и не в его характере, – пользоваться шумной славой сочиненной им сказки. Напротив, Ершов часто публиковал свои стихи, рассказы, драматургические произведения анонимно или под псевдонимами. Может быть, поэтому, из-за авторской совестливости, затерялось имя славного поэта Петра Павловича Ершова в сутолоке литературной борьбы.

После окончания в 1834 году Санкт-Петербургского университета П.П. Ершов до выхода в 1862 году в отставку работал сначала преподавателем, а затем директором Тобольской гимназии. При этом следует заметить, что вся его жизнь и творчество являют собой пример православного служения.

В 1842 году, обобщая опыт своей педагогической деятельности, он пишет "Мысли о гимназическом курсе", в которых отмечает: "Образование есть развитие духовных и физических сил юноши по трем отношениям – как человека, как гражданина и как христианина. Прямое значение его – приготовить юношу к общественному служению (принимая это слово в обширном смысле) и дать ему все возможные средства к довольству и счастию земной жизни" . Ершов делает разработки к "Курсу словесности", готовит статью "О переменах, происходивших в нашем языке, от половины IX века до настоящего времени", пытается пристроить через своих петербургских друзей в "Журнал Министерства народного просвещения" рассуждение "О трех великих идеях истины, блага и красоты, о влиянии их в христианской религии"...

К поэзии Ершов относился с большой гражданской ответственностью и серьезностью. "Огонь поэзии еще не потух в душе моей, – писал он 22 июля 1843 года из Тобольска петербургским друзьям В.А. Треборну и А.К. Ярославцову. – При взгляде на мир, на судьбы людей, при мысли о Творце сердце мое бьется по-прежнему юношеским жаром, но уже не испаряется в легких звуках, а крепко ложится на душу в важной думе" (с. 100). В это время Ершов с увлечением занимался переводом "Страданий Иисуса Христа" К. Брентано, притом делал перевод каждый день по нескольку часов и был уверен в несомненном успехе этой книги...

Нет сомнений, что поэтический мир П.П. Ершова формировался в лоне православной духовности, ее нравственных ценностей, а также под влиянием эстетических идеалов русского романтизма первой половины XIX века. В начале XX столетия А.С. Глинка (Волжский) в статье "Христианские переживания в русской литературе (по поводу "Опыта философии русской литературы" г. Андреевича)" (1905) справедливо писал: "Тень христианского Бога более или менее явственно реет над всей историей русской литературы, до XIX века включительно. И здесь живучесть христианства сказалась не только в том или ином смысле положительных по отношению к нему настроениях славянофильства, Гоголя, Толстого, Достоевского или Вл. Соловьева, но и в отрицающемся духа Христова, по-видимому, атеистическом и национально позитивном западничестве, западническом народничестве. Скорбно-страдальческий, покаянно-мученический гуманизм его, в сущности, религиозное переживание; урезанное, зарисованное почти до неузнаваемости, не осознавшее себя, но в глубоко скрытой основе своей чаще всего христианское. Духовное питание, берущее скрытое начало в религиозно-христианском источнике, здесь сильно и обильно". При этом, безусловно, между лирическим началом поэзии и религиозным чувством автора нет какого-либо противоречия, наоборот, их совокупность при мировосприятии и творчестве придает стихотворному произведению особую гармонию и позволяет сочинителю охватить мир во всей многообразной божественной красоте. "Самый факт существования поэзии и нашего услаждения ею, – отмечал занимавшийся проблемами взаимосвязей религии и художественной культуры преподаватель Московской духовной академии Н.Д. Кузнецов, – свидетельствует, что жизнь человека и природы далеко не охватывается одинаково всеми и для выражения ее часто бессильны не только философские формулы и научные положения, но даже и самые слова. <…> Вся поэзия связана с особо широким восприятием жизни. Стараясь охарактеризовать известного Гете, наш поэт Баратынский между прочим говорит:

С природой одною он жизнью дышал,

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И чувствовал трав прозябанье;

Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна.

Способность более широкого восприятия жизни и понимания ее таинственного языка, отличающие поэтов, заставляют их утверждать, что природа полна жизни и мысли и что прекрасен Божий мир".

На присущее русской классической литературе религиозное начало обращали внимание и святые отцы, связывая его с особой чертой национального характера – склонностью русского человека к богоискательству. "Все ищут Бога, – говорил оптинский старец преподобный Варсонофий. – Вот и художники в области поэзии, живописи, особенно музыки, – все желают найти Бога. Да не так искали. Как искать Бога? Соблюдением заповедей, особенно смирением, поступать в монастырь. А они не хотели соблюдать заповеди, особенно не хотели смиряться, хотели пройти как-либо переулками, поближе, покороче. Знаете стихотворение Пушкина "Пророк"? Там он говорит: "В пустыне мрачной я влачился". Пустыня – это жизнь, он это понимал, что жизнь – пустыня. Влачился, да прямо ползал всем телом. Далее: "И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился". Затем Пушкин рисует картину посвящения ветхозаветного пророка. Кажется, говорится так, что он постиг и "Херувимов горнее стремленье и гад морских подводный ход". Ангелы чисты, они только "горняя мудрствуют". А у нас есть и гад морских подводный ход. Эти два течения идут в нас параллельно. Но должно стараться только "горняя мудрствовать". Это не сразу достигается, а только ход морских будет все тише, и можно достигнуть того, что будет только одно горнее стремленье, а те гады нырнут в бездну и исчезнут. Да, этого можно достигнуть. Вот я вам и говорю: смиряйтесь и смиряйтесь". Литературное наследие П.П. Ершова по своей направленности в основном и являет такое смиренное мировосприятие, спокойно открывающее красоту Божьего мира. Видимо, не случайно творческая биография поэта начинается со сказки, так затейливо и талантливо выразившей скромную народную мудрость, и со стихотворения "Ночь на Рождество Христово", опубликованного, как и "Конек-Горбунок", в 1834 году в популярном журнале "Библиотека для чтения". Таким образом изначально обозначились основные источники – фольклорный (сказочный) и религиозный (библейский) – творчества юного поэта и определилось в основном направление его развития.

Подражания библейским сюжетам и стихотворные изложения мотивов из Священного Писания были весьма распространенными в русской литературе первой половины XIX века. Стихотворение П.П. Ершова "Ночь на Рождество Христово" как раз является довольно свободным переложением евангельского текста о так называемом поклонении пастухов. Поэт в своем сочинении не только передает сюжетную канву события, но и придает стихотворению большую конкретику и оживленную драматургическую форму, вводит в повествование наряду с пейзажными описаниями диалоги, которые ведут между собой три пастуха – Даниил, Нафанаил и Аггей, а также беседу с ними Ангела (архангела Гавриила). 9 стихов Евангелия от Луки, связанных с сюжетом "поклонения пастухов", поэт излагает в обширном тексте, насыщая его подробностями и образами, заимствованными из общей библейской истории. В стихотворении использованы топонимические подробности ("священная река Иордан", Ливан, ключ Элеонский, Сион, Египет), которых нет в перелагаемом евангельском тексте; выразительность изложения строится на лексике и тропах, заимствованных из общей библейской поэтики и свойственных мировосприятию воцерковленного человека ("риза ночи", "хитон ночной", "дым благовонный", "стада овец мягкорунных", "под сенью Ливанского кедра", "Всезрящий Бог", "Превечное Слово", "как звуки тимпана", "криле позлащенны", "земля, кипящая млеком и медом", "непорочная Матерь"). Лаконичный евангельский стих "В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего" (Лук. 2, 8) разворачивается П.П. Ершовым в обширную экспозиционную картину:

Светлое небо покрылось туманною ризою ночи;

Месяц сокрылся в волнистых изгибах хитона ночного;

В далеком пространстве небес затерялась зарница,

Звезды не блещут.

Поля и луга Вифлеема омыты вечерней росою;

С цветов ароматных незримо восходит в эфир дым благовонный;

Кипарисы курятся.

Тихо бегут сребровидные воды священной реки Иордана;

Недвижно лежат на покате стада овец мягкорунных;

Под пальмой сидят пастухи Вифлеема.

Затем следует возвышенный разговор пастухов, в котором слышны отголоски библейских "песен и гимнов для Бога". Вместо строго-торжественной констатации факта, заключенной в 9-ом стихе евангельского текста ("Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим"), поэт дает довольно подробную портретную характеристику явившегося пастухам Ангела:

И вот от пределов Востока является Ангел.

Криле позлащены, эфирный хитон на раменах,

Веселье во взорах, небесная радость в улыбке,

Лучи от лица, как молнии, блещут.

Дальнейший евангельский текст (10–12 стихи: "И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: / Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; / И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях") переводится Ершовым в драматургическую форму:

А н г е л

Мир приношу вам и радость, чада Адама!

П а с т у х и

О, кто ты, небесный посланник?.. Сиянье лица твоего

ослепляет бренные очи…

Не ты ль Моисей, из Египта изведший нас древле

В землю, кипящую млеком и медом?

А н г е л

Нет, я Гавриил, предстоящий пред Богом,

И послан вам возвестить бесконечную радость.

Свершилась превечная тайна: Бог во плоти днесь явился.

П а с т у х и

Мессия?.. О радостный вестник, приход твой от Бога!

Но где, покажи нам, небесный Младенец, да можем Ему поклониться?

А н г е л

Идите в вертеп Вифлеемский.

Превечное Слово, Его же пространство небес не вмещало, покоится в яслях.

Оставшиеся четыре стиха (13–16) из Евангелия от Луки ("И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: / Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. / Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. / И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях") Ершов излагает почти дословно, но по-своему выстраивает ряд событий и завершает стихотворное повествование фразой, которая отсутствует у Луки, но ассоциируется со свидетельством Матфея, указывавшего, что волхвы (а не пастухи), "вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились Ему" (Мат. 2, 11):

И ангел сокрылся!

И пастыри спешно идут с жезлами к вертепу.

Звезда Вифлеема горела над входом вертепа.

Ангелы пели: "Слава Седящему в вышних! Мир на земли, благодать в человеках!".

Пастыри входят – и зрят непорочную Матерь при яслях,

И Бога-младенца, повитого чистой рукою Марии,

Иосифа-старца, вперившего очи в Превечное Слово…

И пастыри, пад, поклонились.

В стихотворении "Ночь на Рождество Христово" отразилось не только глубокое знание библейских источников, но и неподдельное религиозное чувство Петра Ершова.

Прекрасное же знакомство сочинителя с народным поэтическим творчеством, со сложившимися в первой трети XIX века традициями русской литературной сказки и мудрость, орошенная высшей благодатью, обеспечили блестящий успех "Коньку-Горбунку". Справедливо считается, что во многом Ершов был творческим наследником А.С. Пушкина, который, прочитав сказку юного автора, с похвалой ему заметил: "Теперь этот род сочинений можно мне и оставить". В литературном наследии поэтов можно проследить существенные сближающие их родственные связи, показывающие преемственное развитие русской классической словесности.

Современный норвежский славист Э. Эгеберг, говоря о творчестве Пушкина и Лермонтова, отмечает, что "тема "пророчества" объединяет двух великих русских поэтов, причем встречается она не только в произведениях, названных "Пророк": образ пророка не случаен, он тесно связан с самой сердцевиной как пушкинской, так и лермонтовской поэзии". При этом следовало бы добавить, что осмысление пророческого начала художественного творчества занимало многих русских поэтов. Тема пророка не только оформляется у них в четкие образы и открыто звучит в стихотворных переложениях библейских сюжетов и мотивов, но и пронизывает их собственное авторское мировидение в лирическом отображении чувств и мыслей, отдельных предметов и картин природы. К этой теме обращается и П.П. Ершов в стихотворении "Призыв", опубликованном П.А. Плетневым по воле автора анонимно в 44 томе "Современника" за 1846 год. В своем сочинении Ершов сущность поэтического творчества определяет как божественную, пророческую, как данную лишь избранному Богом человеку. Поэтому он взывает к стихотворцу, который "Унынья мрачной пеленою, / Как мертвых саваном, повит":

Проснись, питомец обаяний!

Свой малодушный сон прерви,

Вступи в ряды живых созданий

И жизнью общею живи.

Не искушай хулой сомненья

Путей святого Провиденья;

Под руку крепкую смирись:

Отец людей любвеобильный

Ведет тебя рукою сильной

Чрез мрак и смерть во свет и жизнь.

Жизнь-пустыня для каждого на земле связана со страданиями и горькими плодами утрат. Но несмотря на это, боговдохновенный дар поэта несет в себе радость творчества и воздаяния наград.

О, торжествуй! Судья вселенной,

Прозревши клад в тебе бесценный,

Тебя страданием почтил.

Любовь превечная судила

Тебе пройти сквозь огнь горнила,

Чтоб ты и чист, и светел был.

Четвертая строфа стихотворения содержит в себе несколько аллюзий из Священного Писания. В ней явно возникает ветхозаветный образ Моисея – "пророка и первого священного бытописателя", "первого Боговдохновенного писателя" – и в то же время слышны отзвуки из Евангелия от Луки.

Восстань, возьми свой одр печали

И новой жизнию ходи!

Ужель поэзии скрижали

Напрасно носишь ты в груди?

Смотри: в огнях, гремя, блистая,

Венец таинственный Синая

Тебя властительно зовет.

Иззуй себя от тленья страха,

И с твердой верою без страха,

Начни пророческий восход.

Конечно, здесь нет той страстности и художественной динамики, присущих пушкинскому "Пророку". Тон лирического повествования и призыва у Ершова более спокоен, хотя и не лишен возвышенной эмоциональности. Первые две строки этой строфы напоминают евангельскую притчу о воскрешении Иисусом Христом сына вдовы: "Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. / И подошед прикоснулся к одру; несшие остановились; и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань. / Мертвый поднявшись сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его" (Лук. 7, 13–15). Последующие строки перекликаются с 34-й главой из Второй книги Моисеевой Исход, где описывается встреча народа с Богом, передавшим через Моисея "закон", представлявший собой общую ветхозаветную религиозную систему ("И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил". – Исх. 34, 1).

Конечно, Ершов по-своему передает атмосферу и суть библейского события, однако нельзя отрицать ассоциативные связи его стихотворного текста с вдохновенным религиозным источником, с тем, что читаем в Священном Писании: "Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. / И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. / И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. / И сказал Господь Моисею: сойди, и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из него; / Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь. / И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай; потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее. / И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. / И сошел Моисей к народу, и пересказал ему" (Исх. 19, 18–25).

Заключительная строфа стихотворения Ершова является своеобразным поэтическим комментарием к ключевому событию в жизни Моисея и одновременно проецирует конкретный смысл ветхозаветного предания на общую сущность призвания и богоизбранности поэта:

Не устрашись стези далекой:

Творец твой путь благословит,

И тайны мудрости высокой

Он духом уст тебе внушит.

Твой ум постигнет мысль и слово;

Ты будешь вестник Иеговы,

Глашатай воли Божества;

К тебе склонят свой слух народы,

И пронесутся в род и роды

Могучих уст твоих слова.

В Библии же сказано: "И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою; и, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею" (Исх. 33, 19); "И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. / И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, / Сохраняющий милость и тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода" (Исх. 34, 5–7).

К сожалению, в XX веке исследователи и издатели литературного наследия П.П. Ершова старались избегать религиозных сторон творчества создателя "Конька-Горбунка". В советское время при публикации сборников сочинений Ершова не включались важные его духовные стихотворения, изымались фрагменты, характеризующие православное мировидение автора. Так, в солидном иркутском издании 1984 года в "Осенних вечерах" из рассуждений Академика – одного из участников этих "вечеров" – был исключен фрагмент, весьма существенный для понимания как всего цикла рассказов, так и жизненной позиции не только персонажа, но и самого Ершова. В словах героя "Осенних вечеров" раскрывается принципиальный, духовный взгляд на мир: "Человек без религии – не человек, а жалкая игрушка воли и обстоятельств. Вера в Бога и Искупителя есть та печать, которая дает ценность всем нашим действиям, как бы они маловажны или велики ни были. Что бы ни говорили о прогрессе, об усовершенствовании человеческого рода, без печати религии – это все фальшивые штемпеля. Они касаются настоящего, одной минуты нашего существования, а целая вечность будущего для них как бы не существует".

При написании П.П. Ершовым романтических "Осенних вечеров" (особенно четвертой их части "Чудный храм", проникнутой православным духом и светлым пасхальным чувством), стихотворений религиозного характера и во многом программного содержания ("Ночь на Рождество Христово", "Моя молитва", цикл "Моя поездка", "Ответ", "Призыв") обретает особую силу его поэтический талант.

Мировидение П.П. Ершова было насквозь духовно – и в земном он видел небесное. В стихотворении "Оправдание", посвященном своей второй жене О.В. Кузьминой, поэт описывает погружение "в созерцанье любви возвышенной":

Минуты чудные! Казалось,

Перед возвышенной душой

Мне небо света открывалось

С своею вечной красотой.

О, только лишь художник-гений,

Ловя чудесный идеал,

В часы божественных видений

Подобный образ создавал!

Для поэта вдохновение – "проблеск мысли огневой". В то же время он с неподдельной иронией писал в юмористическом стихотворении "Нос" ("лиро-эпическом произведении, исполненном поэзии и философии") о литераторах, оставивших "путь прямой дороги", потакавших низким запросам публики, шедших "без руководства головы", и взывал к ним:

Поэты! Род высокомерный!

Певцы обманчивых красот!

Доколе дичью разномерной

Слепить вы будете народ?

Поэзия для Ершова была делом органическим, выходящим из жизни и освященным божественным вдохновением. Она не замыкалась в тесном кругу земной суеты и личных переживаний; в каждой его строке, касающейся, казалось бы, самых простых и обыденных вещей, бьются мысль и чувство, которые сродни мироощущению каждого верующего человека.

Близость творчества Ершова духу народа, созвучность его произведений душевному миру православного человека связаны с тем, что, как искренний талантливый поэт и патриотически настроенный гражданин, он душою и сердцем был привязан к России. Университетский друг писателя А.К. Ярославцов вспоминал: "Ершов горячо любил свою родину, Россию; с жаром восставал, при каждом случае, за народ православный, но всегда коротко, отрывисто, а от беспощадных нападков на нашего простолюдина решительно отворачивался, как от невежества" (с. 21–22). Эта искренняя симпатия поэта к простому человеку, слиянность его души с народным духом отразились в "Коньке-Горбунке", в "драматическом анекдоте" "Суворов и станционный смотритель", в поэме "Сузге", во многих стихотворениях и эпиграммах, в оперных либретто.

Присущие православному человеку добросердечие и обостренное чувство справедливости лежат в основе удалой сказки о Коньке-Горбунке, что, пожалуй, и обеспечило ей столь широкую популярность и заслуженную славу ее автору. Ершов точно подметил и затейливо развил те черты характера Ивана-дурака, которые так ценит во всяком человеке наш народ и которые делают этого героя действительно национальным и любимым. Ведь Иван в сказке Ершова обладает желанными русскому сердцу чертами: он благороден и ироничен, умен и бескорыстно лукав, смекалист и в просьбах безотказен.

К сожалению, до сих пор в "Коньке-Горбунке" многие ценят прежде всего внешнюю занимательность повествования и относят эту сказку даже к разряду исключительно детских (что подтверждается однонаправленностью изданий этого произведения Ершова). Она и впрямь увлекательна по сюжету, и простота ее рассказа может показаться такой же легкой по мысли, а вернее, мысль в ней как бы теряется в этой очаровательной простоте и сказочности событий (тем более если издание украсить впечатляющими картинками). Уместно здесь привести слова А.К. Ярославцова: "Некоторые говорят – в сказке этой нет никакой идеи; но может ли это быть по самому складу человеческого и русского ума, в этом случае в особенности? Сказка эта служит не для забавы только праздного воображения; в основе ее лежит идея нравственная, данная ей первыми слагателями ее, простыми детьми природы. Смысл сказки является таким: простодушное терпение увенчается, наконец, величайшим возмездием на земле; а необузданные желания губят человека даже и на высочайшей ступени земного величия" (с. 3). В этой мысли заключена глубокая истина. Поэтически выраженная Ершовым (с гениальной легкостью и свободой), она обрела особую силу и привлекательность.

Как справедливо заметил Е.М. Неёлов, "русская сказка, оказывая порой пусть и не заметное, но постоянное воздействие на весь путь русской литературы, служила своеобразным каналом, по которому евангельские идеи и образы, трансформированные в духе "народной веры", проникали уже на уровне жанровых структур в мир профессионального творчества". Так, анализируя пушкинскую "Сказку о царе Салтане", он выделяет "две традиции, противоположные (и даже враждебные) друг другу в рамках своих аксиологических систем". Одна из них фольклорная (языческая), а вторая – "христианская, о чем свидетельствуют различные приметы христианского мироустройства, рассыпанные по всему тексту". При этом исследователь ссылается на Е.Н. Трубецкого, заметившего, что у Пушкина "христианство выражается не в отдельных чертах и подробностях, а во всем жизнечувствии сказки" , отражающем религиозную основу мировидения автора и лирического героя. Авторская позиция и в "Коньке-Горбунке" является христианской, что вполне закономерно для православного сочинителя, каковым был Ершов, впитавший религиозные начала из народной поэтики сказительства.

Главная идея ершовского сочинения в чем-то созвучна основному смыслу пушкинской "Сказки о рыбаке и рыбке". Эти сочинения объединяет скрытый в их содержании поучительный урок, связанный с христианской моралью. Прав А.С. Глинка (Волжский), заметивший: "Христианство жило в литературе русской, но сказывалось вторичными признаками нравственной жажды, отсюда тот своеобразный "этицизм" русской литературы, то учительное, апостольское начало в ней, на которое всегда много указывалось и что особенно удивляло европейцев а нашей литературе. Это все пережитки не сознанной до конца религиозности, пережитки христианских настроений, живые цветы неизжитых еще на нашей жизни и неизживаемых религиозно-христианских начал".

Русская сказка была неотъемлемой частью жизни Ершова и лучшими токами вошла в его поэтический дар. Действительно, легкость и простота сказа Ершова родственны поэтике народного эпоса, который, безусловно, во многом питал и религиозный, духовный мир его сочинений. Именно органичную слиянность таланта молодого сибиряка с миром народной сказки, видимо, почувствовал А.С. Пушкин в "Коньке-Горбунке", после чего и произнес свои знаменитые слова о признании дара юного поэта. Каким недюжинным талантом нужно было обладать, чтобы сказка еще совсем безвестного автора вызвала восторг просвещенных и авторитетнейших умов русской культуры, да еще в то время, когда литературно обработанная народная сказка и сказка по фольклорным мотивам, романтическая история на основе устных преданий были в моде, являлись веянием времени, когда к подобным жанрам обращались А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, В.И. Даль (Казак Луганский), А.Ф. Вельтман, О.М. Сомов... Ведь в самом начале 1830-х годов уже появились и "Вечера на хуторе близ Диканьки" Н.В. Гоголя...

Существенно, что Ершов до конца своих дней непоколебимо остался поэтом, во многом очень близким тому живому и определяющему направлению в русской словесности первой половины XIX века, которое в недрах романтизма взращивало добротные семена принесшего мировую славу нашей литературе реализма, обозначаемого теперь иногда особо как христианского. Поэт остался верным духу лучших традиций, заложенных Пушкиным. При этом он пытался открыто выступать против описательных излишеств, которые, на его взгляд, были присущи сочинениям эпигонов "натуральной школы".

В черновом письме к П.А. Плетневу в июне 1851 года Ершов предстает рьяным защитником пушкинского стиля повествования, оставаясь верным своим эстетическим принципам периода "Конька-Горбунка". "Когда-нибудь <...> я изложу свою теорию повести, – заявляет Ершов, а далее поясняет: – Я не враг анализа, но не люблю анатомии. <...> Я допущу еще подробности в таких вопросах, как быть или не быть, но в такой мелочи – как идти или ехать, спать или проснуться, право, безбожно рассчитывать на терпение читателей. А жизнь героев повестей больше, чем на 9/10 слагается из подобных мелочей. – Простите меня, Петр Александрович, за резкие, может быть, выражения, но я говорю, как понимаю. Для меня – одна глава "Капитанской дочки" дороже всех новейших повестей так называемой натуральной или, лучше, школы мелочей" (с. 140–141).

Эти высказанные в некотором раздражении мысли были тем не менее художественным кредо Ершова: в своих произведениях он старался не допускать "бытовизации", и поэтому его стихи даже о вещах, казалось бы, самых земных, о мирских заботах можно отнести к большой поэзии. При этом он ориентировался на поэтику народного творчества. Любопытно рассуждение Безруковского – одного из участников "Осенних вечеров", в образе которого узнаются автопортретные черты Ершова (характерна фамилия героя, которая, безусловно, ассоциируется с названием родной деревни поэта Безруково): "Народная фантазия имеет свои привилегии, и всякое объяснение холодного разума тут было бы пустой придиркой скептицизма. По мне, пусть мечта будет мечтой, а действительность действительностию. Лишь бы только эта мечта не нарушала тех вечных законов души, с которыми связано все наше существование". Это мнение Безруковского разделил и развил дальше близкий ему по духу собеседник. "Совершенная правда, – отвечал Академик. – Кроме общего, так сказать, ощутимого порядка в явлениях мира есть еще другой порядок мира высшего, к которому мы принадлежим бессмертной душой. И здесь-то разгадка всего, что носит название тайны или чудес на нашем языке. Но пока смерть или особый случай не раздернет средостения между нами и миром чудес, до тех пор будем довольствоваться одною мыслию явления, которая всегда светится в этом облаке над святилищем и которой достаточно для того, чтоб согреть душу и раздвинуть пределы знания". Художественные критерии Ершова были воспитаны не расчетливой рассудочностью, а выношены в сердце и отшлифованы в боговдохновенных раздумьях. Стихи его, как верно заметил А.К. Ярославцов, "создавались не по навеянию извне или по какому-либо корыстному побуждению, а всегда по настоятельному требованию сердца: они, – как и все произведения Ершова, – зеркало его поэтического направления вообще и его характера в частности".

Все это роднило Ершова в ранние годы творчества с русскими романтиками и особенно с представителями философско-поэтического направления – любомудрами. Не случайно любимыми поэтами Ершова были Д.В. Веневитинов, В.Г. Бенедиктов, Е.П. Гребенка, а стихотворение Ершова "Желание" (1835) перекликается с одноименным стихотворением А.С. Хомякова, написанным в 1827 году. Многие лирические произведения Ершова и по основным темам, и по мироощущению автора тяготеют к тому, что привлекало русских романтиков и было характерным для их сочинений: мечтательное разочарование в жизни, личная душевная причастность к мировой скорби, поиски идеала в родной, но все же экзотической древности своего народа, наконец, стремление не только в поэзии, но и в жизни уединиться от людей, слиться с первозданной природой, раствориться в ней, предаться углубленным размышлениям, внимательно прислушаться к зову души и сердца... И тем не менее за всем этим романтическим арсеналом скрывается добрый и по-русски беспечно веселый христианин Ершов. Он играючи управляет своим чудным слогом в сказке и драме, в дружеском послании и эпическом сказании, в лирической медитации и шутливом куплете. Это автор, всецело поглощенный свободой русского стихосложения и завораживающий читателя естественностью мелодики своей поэзии, в которой, по его собственным словам, "и речь вилась цветущей тканью". Ершов относится к тем поэтам,

<…> кто с чудною природой

Святой союз сыздетства заключил,

Связал себя разумною свободой

И мир и дух сознанью покорил <…>

<…> кто светлыми мечтами

Волшебный мир в душе своей явил,

Согрел его и чувством, и страстями

И мыслию высокой оживил <…>.

Вопрос, август 1837

Ершов понимал творчество как пророческое служение, вдохновленное Богом, его понимание предназначения поэта, без сомнения, созвучно мыслям, выраженным в пушкинском "Пророке".

В первой половине 1840-х годов Ершов пишет стихотворение "Моя молитва" и отправляет его в числе других П.А. Плетневу с просьбой опубликовать в "Современнике" без указания имени автора. В этом произведении, пожалуй, наиболее открыто и вполне осознанно выражены религиозность поэта и его сокровенный духовный мир. Смиренно и прозрачно начало этой глубоко взволнованной стихотворной молитвы:

Творец! Во прах перед Тобою

Склоняю голову мою

И умиленною мольбою,

О Всеблагий, Тебя молю. <…>

Творец! Все ясно пред Тобою,

И мысль, и чувство, и мечта <…>.

Молитвенное обращение в стихотворении сопряжено с размышлениями поэта о смысле жизни и бытия. Автор предстает при этом как истинно православный и искренно верующий человек, смиренно и благодарно взывающий к Богу:

Так! Жизнь моя – Твое даянье,

Как дар ее Ты мне вручил;

Ты влил мне в ум самопознанье,

А в сердце чувство заключил.

Ты дал мне Веру в Провиденье,

Ты дал надежду мне в скорбях;

И ниспослал мне утешенье

В отрадных чувствах и слезах.

Вместе с "Моей молитвой" П.А. Плетневу было отправлено программное стихотворение "Ответ", в котором Ершов четко обозначил свои художественные и духовно-гражданские позиции, дал отповедь недругам и скептикам, утверждавшим, что после "Конька-Горбунка" его поэтическая слава закатилась ("погиб твой дар"). Поэт чувствовал в себе постоянное творческое горение и знал, что

<…> пора придет –

Грудь переполненная хлынет,

И лавой огненной откинет

Богатых звуков водомет,

И разовьется песнь цветная,

Кипя, и грея, и сверкая.

Он намечает в своем творчестве ("песни цветной") основные направления, особо выделяя возвышенные – религиозные и патриотические – мелодии, сливающиеся в единую, гармоничную музыку стихов:

В той песни первая струна

Вся – Божеству! вся – искупленью!

И загремит псалмом она,

Подобно ангельскому пенью.

И грудь, внимая звук святой,

Вскипит слезами и мольбой.

Других двух струн аккорд священный

Вам, вам – Отечество и Царь!

Тебе – религии алтарь!

Тебе – Властитель полвселенной!

Для сердца русского давно

Царь и Отечество – одно.

При этом поэт не забывает и про другие лирические струны своей души, сродненной с волнениями земной жизни:

Струны последней звук живой

Вам – жизни чудные волненья –

Мечты, надежды, вдохновенья!

Я облеку вас в стих родной

И с гордой радостию кину

В печальный мир, как цвет в пустыню!

В Ершове неискоренимо живет стремление обратиться к истории Святой Руси, запечатлеть ее с пророческой страстностью в пространном эпическом произведении:

Я разверну твои скрижали,

Святая Русь! Я передам

Резцом стиха твердее стали

Твои судьбы твоим сынам.

И сердце русское услышит,

И грудь восторженно задышит.

Существенным для понимания роли религиозных мотивов в лирике П.П. Ершова является поэтический цикл "Моя поездка", состоящий из 10 стихотворений. Следует заметить, что 4 из них ("Сердце", "Межугорский монастырь", "Вечернее пение" и "Вечер"), в которых религиозные чувства поэта выражены с наибольшей откровенностью, при публикации обычно исключались . В первых пяти стихотворениях цикла ("Выезд", "Поле за заставой", "Песня птички", "Скорая езда" и "Дорога") объясняется причина поездки, почему автор уезжает из "города бедного", "города скушного", олицетворяющего "прозу жизни и души", и раскрываются красоты загородной природы, восторженно воспринимаемой вырвавшимся из уз городской суеты на волю путешественником. Из груди поэта вырываются отчаянные фразы, полные категоричности и нетерпения:

Прочь убийственные цепи!

Я свободен быть хочу…

Тройку, тройку мне – и в степи

Я стрелою полечу!

Но вот суетный мир города оставлен, застава уже позади, впереди "цветные луга", "трепетные леса"… Поэт с восторгом восклицает:

Пал шлагбаум! Мы уж в поле…

Малый, сдерживай коней!

Я свободен!.. Я на воле!..

Я один с мечтой моей!

Он наслаждается пением вольной птички, у которой жизни "краткий срок", разделяет с ней восторг земного бытия, поэта охватывает легкое чувство свободы и радости, любования трепетным миром природы – его эмоции льются через край:

Пой, воздушная певица!

Срок твой краток, но счастлив.

Пусть живой волной струится

Светлых звуков перелив!

Пой, покуда солнце греет,

Рощи в зелени стоят,

Юг прохладой сладкой веет

И курится аромат!

Восхищение поэта вызывает и скорая езда, в которой он распаляется до того, что его "земная грудь боится / Бег небесный испытать"; при этом стихотворная речь поспешна, сбивчива:

Что за роскошь, что за нега

Между поля и лесов

В вихре молнийного бега

Мчаться прытью скакунов!

Наконец вырвавшийся из плена городской жизни поэт просит ямщика "пожалеть коней", дать им вздохнуть и перейти на "ровный бег", в это время поостынет и разыгравшаяся кровь ездока, разгоряченного свободой и многообразными яркими и свежими впечатлениями от девственной природы:

Я же буду в сладкой неге

Любоваться и мечтать.

Мать-природа развивает

Предо мною тьму красот:

Беглый взор не успевает

Изловить их перелет.

Стремительно и многокрасочно промелькнули перед взором поэта картины природы, с жадностью и страстью ловил он каждый миг, каждую оригинальную, бросающуюся в глаза примету внешнего мира, наслаждаясь свободой земного бытия. После пятого стихотворения цикла, после первой половины поездки вдруг наступает глубинный эмоциональный слом в мировосприятии поэта, хотя инерция свободного и легкого мироощущения еще остается в его душе:

Дальше! Дальше! Мне отрадно;

Грудь легка; цветут мечты…

Но зачем же взор мой жадно

Ищет новой красоты?

Но зачем же червь желанья

Снова точит эту грудь,

Просит тихого страданья,

Хочет сладостно вздохнуть?..

"Непостижно сердце наше!" – восклицает поэт в недоумении, ибо оно беспрерывно находится в вихре противоречивых стремлений и желаний ("В грусти ищет наслажденья, / В наслажденьи грусть зовет"). От внутренних переживаний лирическое чувство поэта устремляется к печальным размышлениям о мире ином:

Там, на дальней мира грани,

Скрытый в холод и туман,

Глухо стонет над гробами

Беспредельный океан.

День и ночь туда чредою

Ангел смерти роковой

Беспощадно все живое

Увлекает за собой.

В конце стихотворения у автора возникает навеянная, по всей вероятности, Откровением святого Иоанна Богослова ("И слышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь" – Отк. 12, 10; "И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними" – Отк. 14, 13) успокаивающая мысль о "дне чудесном", когда будет низвержен этот "Ангел смерти роковой":

Но настанет день чудесный:

Голос с неба прозвучит, –

И из гроба бестелесный

Житель рая воспарит!

Спокойной пейзажной картиной, контрастной эмоциональной взволнованности описаний в предыдущих частях цикла, начинается стихотворение "Межугорский монастырь":

Едем тихо. Солнце блещет

После полдня. Жаркий луч

То играет, то трепещет

На далеком лоне туч.

Это умиротворенное состояние души и мировосприятия автора не смогла нарушить даже приближавшаяся буря и разыгравшаяся непогода. С грозовой тучи внимание путешественника перемещается к выросшему на горизонте "лучезарному кресту":

Миг еще – и пред глазами

Вдруг возник Господний дом

С величавыми главами

Под сияющим крестом.

Здесь, в этой "обители мира", в "приюте от дольних бед", "доме небесном" поэт укрывается от разыгравшейся стихии, "от бури злой". В монастырском приюте он задумывается о своей будущей судьбе, и у него возникают покаянные размышления:

Но настанет, может, время

Бури сердца, и тогда

Я приду, покинут всеми,

Под объятия Креста.

Я приду открыть паденья,

Страсти сердца, злобу дней,

И оплакать заблужденья

Бурной юности моей.

Молитвенно, просветленно и с надеждой на обновление земного существования звучат последние четыре строчки стихотворения, заключающие смиренные просьбы путешественника:

О, открой тогда, обитель,

Мне объятия любви!

Ты же, Бог мой, мой Спаситель,

Новый путь благослови!..

Дальнейший же путь поэта-путешественника связан с "грозной прелестью небес", полной таинственности, что порождает у автора восхитительные чувства перед величием и загадочностью небесной силы:

Гром рокочет, пламя молний

Переломанной чертой

Бороздит седые волны

Черной тучи громовой.

Чудодейственная сила

Здесь на темных облаках

Тайный смысл изобразила

В неизвестных письменах.

Что же это за письмена? Кому открывается их божественная тайна? По мнению П.П. Ершова, разгадать ее сможет только глубоковерующий человек:

Не с боязнью суевера,

Не с пытливостью ума,

Но с смиреньем чистой веры

Он уловит смысл письма.

"С смиреньем чистой веры" автор "Грозы" смотрит и на гибель столетнего кедра, рассеченного и воспламененного молнией:

Старец дряхлый! Как прекрасна,

Как завидна смерть твоя!

Ты погиб в красе ужасной

От небесного огня.

Небесная стихия миновала, "буря смолкла". В природе наступает спокойствие и умиротворение. Но

Вдруг внезапно зов раздался

Благовестника земли.

Верный горнему служенью,

Он архангелом звучал

И к вечернему моленью

Верных братий призывал.

Звуки благовеста пробуждают в поэте-путешественнике как в воцерковленном православном человеке сокровенные религиозные чувства, и он направляется в Божий храм, взывая к читателю:

Поспешим во храм Владыки,

Где, для смертных глаз сокрыт,

Сам Господь, сам Царь Великий,

В горней славе предстоит;

Где Он внемлет покаянью,

Видит слезы, слышит вздох,

И властительною дланью

Покрывает верных Бог…

Автор стихотворения погружается в таинственную и торжественную атмосферу церковной службы, внимательно вслушивается в "вечернее пение", в умиленные мольбы монахов:

Те мольбы – Творцу спасенья;

Те хвалы – Царю веков;

Те усердные прошенья

За адамовых сынов.

Все надежды, все желанья –

От монарха до раба –

Все слила в одно воззванье

Мирных иноков мольба.

В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой:

"Тихий свет святыя слава…" –

Благозвучно клир запел…

В это чудное мгновенье

Я земное все забыл,

И в восторженном виденьи

Я у Бога в небе был.

Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы:

Служба кончилась. Я снова

Теплой верою согрет,

Вышел с холма лугового

Посмотреть на Божий свет.

Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям:

Я смотрел. Часы бежали.

Раскаленный солнца шар

Пал за лесом в синей дали, –

Запад вспыхнул как пожар,

Разноцветными огнями

Луч по воздуху скользил,

Прыскал по небу стрелами

И дождинки серебрил.

Поэт очарован увиденным:

"Есть ли где во всей вселенной

Мир прекрасней?" – я вскричал.

Вопрос этот был сокровенным, вырвавшимся из восторженной груди и риторическим. Каково же было удивление путешественника, когда он вдруг услышал ответ на свой не предназначенный для постороннего слуха возглас:

– "Есть, за гробом", – вдохновенно

Чей-то голос отвечал.

Благодаря этому таинственно возникшему краткому диалогу концовка стихотворения П.П. Ершова обретает аллегорический оттенок, вскрывает глубокий не столько философский, умозрительный, сколько мистически-религиозный смысл, приоткрывает завесу над вечной таинственностью сакраментального вопроса о жизни и смерти:

Я взглянул: вблизи за мною

Старец сгорбленный стоит;

Светлый взор под сединою

Важной думою горит.

Он смотрел на запад дальний,

Одевающийся в тень,

И улыбкою прощальной

Провожал угасший день.

Поездка завершена. Начавшаяся с жадного стремления негодующего на мир поэта вырваться на волю, к природе, затем наполненная остро-эмоциональными впечатлениями, она завершается на закате дня. Восторженно-взволнованные лирические переживания идут на спад и переходят в аллегорическое видение – встречу пылкого героя-путешественника, обладающего разгоряченным умом и порывом страстей, с мудрым старцем, который своим спокойным и светлым взором с улыбкой провожает угасающий день: мудрость соединила бренную и бурлящую эмоциями и многоцветными картинами земную жизнь с вечностью таинственного, уходящего за грань земного бытия мира, открывающегося ясному и горящему "важной думою" взору сгорбленного старца.

Таким образом, весь цикл "Моя поездка", состоящий из весьма разнохарактерных по мировосприятию и лирическому настроению небольших стихотворений, представляет собой единую картину, непрерывно развивающееся перед взором читателя полотно человеческой жизни, представленной в живых лирических фрагментах. Скрепляет всю эту мозаичную панораму трепетных пейзажей и переживаний путешествующего по пригородным местам поэта единое религиозное чувство, вначале растворенное в лирическом восприятии картин внешнего мира, а затем выливающееся щедро в духовных рассуждениях и завершающееся мудрым аллегорическим показом смысла земной жизни человека и христианской устремленности человека в жизнь вечную.

Почти одновременно с созданием цикла "Моя поездка" в начале 1840-х годов П.П. Ершов делает несколько лирических зарисовок, которые теперь публикуются в его собраниях сочинений под общей рубрикой "Отрывки". До недавнего времени 5 ("Блеща жаркими лучами…", "Чудесный храм", "Была пора: глубокой темнотой", "Панихида" и "Благовещение") из 8 известных "отрывков" не печатались, вероятнее всего, по причине их религиозного содержания. Безусловно, это преимущественно не отшлифованные до конца сочинения, напоминающие лирические эскизы, наметки стихотворений, которые могли бы быть объединены в завершенный цикл, подобный "Моей поездке". О религиозной направленности этих произведений говорят уже их названия. Здесь возникают образы, словосочетания и обороты речи, встречающиеся в ранних стихотворениях поэта и характерные для мировосприятия воцерковленного православного человека: "нектар рая", "хлеб небес", "риза ночи", "небес недремлющие очи", "песни херувима", "Страстная седмица", "набожный народ", "Распятому молиться", "обряд урока дивнего смиренья", "священное дело умовенья", "Христова кровь", "ликует небо, плачет ад!", "отрадная звезда", "проповедь Христова", "апостольское слово", "вселюбящий Отец", "праздничный венец", "глагол проклятья", "Творец <…> был Судия", "благовестный глагол", "Дева Назарета", "целование привета"… В этих "отрывках" описывается атмосфера предпасхальных дней, в стихотворной форме излагаются евангельские мотивы и сюжеты, возникают аллюзии из библейских книг, используются как свободно перелагаемые, так и почти дословные цитаты из Священного Писания.

Многочисленные стихотворения, написанные П.П. Ершовым в 1840-е – 1860-е годы, прямо отражают православное мировосприятие поэта. Религиозные чувства пронизывают стихотворения сугубо личного звучания, связанные с сокровенными фактами биографии автора, а также послания к друзьям и близким знакомым. Так, молитвенное начало пронизывает стихотворение, написанное поэтом в связи с днем рождения своей жены С.А. Лещевой, которая за год до того потеряла своего первого мужа и обратила на себя внимание 23-летнего гимназического преподавателя Ершова. Возвышенное религиозное чувство здесь переплетается с житейскими заботами и мирскими страстями автора:

Вот минул год, как я уединенно

В сей самый день молился за тебя,

И стих кипел в груди воспламененной,

И сердце плакало, страдая и любя.

Но та мольба была мольба прошенья,

Тот голос робкою надеждою звучал.

И часто звук под тяжестью сомненья

Неконченный на сердце замирал.

Теперь я вновь колена преклоняю,

И вновь молюсь, мой ангел, за тебя;

Но полный счастия, теперь я не страдаю,

И в звуках радостных звучит моя мольба.

О, нет, не юноша, волнуемый желаньем,

Здесь молится супруг, здесь молится отец…

Как сладостен сей двойственный венец,

Увитый счастием, златимый упованьем!

29 июля 1840 года

К религиозным чувствам отъезжавших в Москву дочерей своего тобольского знакомого П.Д. Жилина обращается поэт в послании "На отезд А.П. и С.П. Ж<илиных>" (14 июня 1841). В житейской ситуации прощания с близкими людьми Ершов открыто проявляет свое христианское мировосприятие, понимание событий и фактов человеческого бытия как непреложных явлений в земном существовании, определенном Божьей волей:

Счастливый путь! Счастливый путь!

Привет, всех благ вам на дорогу!

Скрепите трепетную грудь

В прощальный час молитвой к Богу.

И Он вас в путь благословит

Всемощным манием десницы,

И в легком отблеске денницы

Пред вами ангел полетит.

В стихотворном обращении (1855) поэт по-христиански желает добровольно отправляющемуся на Крымскую войну В.М. Жемчужникову:

Да будет Бог твоим покровом –

В бою мечом, в огне – щитом!

И возвратись в венце лавровом

И жив и здрав в твой отчий дом.

В своего рода завещательном стихотворении "Одиночество" поэт подводит итоги собственного земного бытия:

Враги умолкли – слава Богу,

Друзья ушли – счастливый путь.

Осталась жизнь, но понемногу

И с ней управлюсь как-нибудь.

Завершая жизнь с миром в душе, прощаясь с врагами и друзьями, Ершов все же простирается мыслью в будущее, надеясь, что на "звук живой" его стихов "проснется кто-нибудь другой". Современный читатель наверняка услышит во вдохновенных строках Петра Павловича Ершова живое биение благородного щедрого сердца писателя-христианина, прочтет в них мысль ясную и возвышенную.

Последние дни жизни Ершова были омрачены развивавшейся у него мучительной болезнью (водянкой). В это время с особой ясностью проявились характер и духовный мир поэта. О тех сокровенных днях Петра Павловича Ершова рассказал в своих воспоминаниях А.К. Ярославцов: "На усильные просьбы родных – обратиться к пособиям доктора – он иногда, и то с трудом, соглашался, говоря: "Завтра, может быть, приглашу доктора", а завтра почему-либо опять отклонит это, прибегая к домашним пособиям. Конечно, от серьезного лечения удерживала его и мысль о скудных средствах, ввергших его уже в долги. <…> Болезнь, быстро развившаяся, окончательно одолела его: он предчувствовал исход ее. По его желанию, – так как в это время был Успенский пост, – жена и одна из дочерей его говели. 14 августа приглашенный в дом после заутрени со Св. Дарами священник исповедал больного и приобщил его. Тут же исповедались жена и дочь. С глубочайшим благоговением исполнил он святой долг: несмотря на убеждения – остаться в креслах, он поднялся и, стоя на слабых ногах, сам читал предпричастные молитвы, а, произнося их, не мог сдерживать слез своих. В этот день он принудил себя сесть за обед с причастницами, в кругу семейства. Это был его последний обед, за которым он оставался почти безмолвен и отказывался от пищи. 16 августа, сидя в креслах, он помолился пред иконою со всем семейством. 17 числа ему как будто сделалось легче: он вздумал выйти в залу и завести стенные часы. Но 18 августа, когда дети по обыкновению пришли здороваться с ним, он, благословив их, сказал жене: "Не отпускай детей: сегодня ветер". Прибывшим докторам он отвечал на все вопросы; сказал, что всю ночь провел худо, ни на один бок не мог лечь, чувствует слабость; что в глазах у него точно черные мухи. В этот же день он благословил все семейство и простился с ними. <…> Томясь впоследние, молвил он жене своей: "Чем бы себя развлечь, не знаю", – попросил газету, и не мог читать: ослабшая рука его опустилась. Чрез несколько минут он поднялся с кресла, взял маленькую подушку и перешел к своей письменной конторке, – как бы проститься с тем задушевным местом, где он передумал многое; облокотился на нее, прилег на подушку, потом поднялся, поцеловал крест, который постоянно носил на груди, отошел от конторки, проговорив слабым голосом: "Места нигде не могу себе найти!..". Опять сел на кресло и в забытьи стал обращать глаза вверх; но лишь приходил в сознание, часто повторял: "Матерь Божия, Боже милостивый, сжалься над мною!..". Чрез несколько минут снова поднялся, перешел на другое кресло, опустился в него и тихо и спокойно скончался; душа, как бы очищенная долгими страданиями, оставила свое временное жилище. После первой панихиды священник, принявший последнюю исповедь его, утешая осиротевшее семейство, сказал: "Петр Павлович умер истинным христианином"." (с. 198–199).

20 августа 1869 года "огромная толпа жителей Тобольска проводила тело усопшего автора Конька-Горбунка до могилы на Тобольском кладбище за валом или, как тамошние жители выражаются, на завалье".

В памяти наших современников имя Петра Павловича Ершова преимущественно ассоциируется с любимым с детства "Коньком-Горбунком". Но, видимо, настало время заново осмыслить и глубже вникнуть в многообразное литературное наследие этого замечательного русского писателя именно как истинного христианина.